ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
2012 / 2013 учебный год

Литература
8 класс

Общее время выполнения работы — 240 минут (4 часа)

Задание. Дайте комплексный анализ фрагмента прозаического произведения, обращая внимание на идейно-тематические, сюжетно-композиционные, образные и др. особенности, значимые для его толкования.

Выполните задание в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведение с опорой на его АНАЛИЗ, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ.

М.А. Осоргин (1878—1942)
Слепорожденный

Человек, которому предстояло увидеть свет, чувствовал себя беспомощным. Двое осторожно ввели его в комнату и уложили в постель. Он привык в минуты волнения ходить по комнате из угла в угол ровными считанными шагами, так что след попадал в прежний след; теперь ему этого не позволили.

На его глазах была повязка, в комнате были закрыты ставнями и завешены окна и потушен свет. Но если бы ему позволили ходить, пока не уляжется легкая боль после операции, он мог быстро нащупать стены, кровать, столик, умывальник,— и затем чувствовать себя, как дома. Света и темноты для него не существовало: он был слеп от рождения.

Боли, собственно, даже не было, а было совсем особое ощущение: он был опален, а привычная чистота и четкость его впечатлений спутаны. Он получил извне небывалый удар, заставивший его сильно дернуться и вскрикнуть. Секунду спустя была наложена повязка, но осталось ощущение, как будто он проглотил шар, который теперь перекатывался в теле. Профессор, тоже несколько взволнованный, сказал:

— Ничего, ничего, все хорошо! Вы будете видеть, только потерпите. Будем приучаться понемногу.

В соседней комнате разговаривали вполголоса, но слепой, лежа на спине, слышал все слова с полной отчетливостью, и как профессор сказал: «Зрачок реагирует», и как на слова «Это чудо!» — он ответил: «Чудеса могут делать Бог и шарлатаны, а это наука, голубчик мой». После этого «голубчик» вышел, а профессор топтался у окна и долго вытирал руки полотенцем, палец за пальцем. Слепой слышал малейший шорох и легко определял каждое движение профессора. Вот он сел на стул тут же у окна, вот после долгого вздоха совсем особенным тоном произнес «д-да-а», а вот постучал папиросой о крышку портсигара.

Одновременно слепой прислушивался и к молоточку, стучавшему в груди и отдававшемуся в голове. Шар, проникший в его тело, разбился на малые шарики, затем эти стали дробиться на мельчайшие. Он знал, что это первое действие света, хотя, что такое свет, он не знал. Больше всего его страшило повторение толчка, и он был рад хирургической повязке. Если это и значит «видеть», то видеть мучительно <…>

Мир никогда не был для него пустым и темным. Он с полной ясностью, но по-своему «видел». Его мир состоял из звуков, запахов и намеков на очертания. С детства он привык к тому, что предметы имели определенный цвет; почти безошибочно он отличал белую материю от черной на ощупь: белая холоднее. Выйдя в сад, он мог знать, что небо сегодня голубое — по особой ласковости и струящейся теплоте воздуха, по более веселому звуку голосов, быстро тающему. Солнце он знал и любил, ловил его лицом, перекатывал по коже. Воздух при солнце настаивался и густел. Зелень травы и для него имела множество оттенков: от мягчайшего до жесткого и колючего. Знал и рост травы, наблюдая его ощупью: сегодня больше, чем вчера; а вот это — увядание. Дерево — твердый и шершавый цилиндр, не кончающийся на высоте поднятой руки. Выше на дереве должны быть расположены вет-

ки, на ветках листья, и листья шумят, когда их колеблет ветром. И листья, и ветер были для него почти одинаково предметны, но ветер, который дотрагивался до тела, сам был неуловим — и в этом было его отличие от других предметов. Что над деревьями? Говорят, воздух, то, что ощущается, если в пустом пространстве проводить рукой; и то, что вдыхается. Все эти особые качества предметов образовывали в его представлении гораздо более сложную цепь понятий, чем у зрячего. Зрячий не видит воздуха, но видит небо, которого нет; слепому это понятно, потому что для него нет вещи, если ее нельзя коснуться, а между тем эта вещь есть или будет <…>

Родные удивлялись, как он может сразу определять, что это — его чашка — из целого сервиза. Но на ручке была неприметная зрячим неровность, выдавшаяся крупинка фарфора, а край донышка был шероховат знакомо и по-особому. Впрочем, он отличал ее от других и проще, — слегка ударив пальцем по краю, на что она откликалась своим звучанием. В маленькой библиотеке сестры он знал и мог найти любую книгу, потому что раньше, перебирая их, спрашивал названия, и некоторые книги ему читали вслух. Один только раз ощупав предмет, он после угадывал его простым легким прикосновением, едва проведя пальцем по краю. И самый предмет он сберегал в своем представлении в виде легкого штриха, определяющей черточки; он по ним скользил памятью, как зрячие скользят глазами, — и этого было достаточно. Черточки, запахи, звуки заполняли его мир и располагались знакомыми картинами на экране памяти: комнаты, люди, сад; труднее — улица, то есть ряд шумов и препятствий, плоскость, заставленная редкими подъемами по крутящимся ступеням.

Значит, и он видел; но он мог видеть только знакомое и не видел ничего, не оставившего следа в его изумительной памяти; остальное он воображал. Так, уличная толпа представлялась ему последовательной и путаной записью локтей, одежд, неисследованных лиц, дыханий и слов. Все это располагалось рядом, сцепившимися черточками и в плоскости обычного экрана, потому что перспектива была ему недоступна. Он знал, но никогда не мог понять выражения: «Человек вдали кажется маленьким». Стараясь понять, он представлял себе кусок мяса, который он ест: кусок делается все меньше. Так отдаление, то есть отрыв от прямых ощущений, постепенно поглощает и человека. Впрочем, то же бывает со звуком и с запахом, и это понятно, только осязание не имеет степеней приближения: то, чего нельзя еще раз коснуться, уходит из области очертаний в другие области, лишь оставляя след в памяти. Человек, ставший маленьким в отдалении, как бы растягивается и утончается, но все еще прикреплен к глазу зрячего, понять это иначе невозможно.

Основным миром его бытия был мир звуков — самый полный, ясный, прекрасный и мучительный. Предмет мог ударить, пища обжечь и вызвать отвращение. Звук также мог оскорбить резкостью, но он же давал полноту жизненных впечатлений. Звуками его сутки делились, как у зрячих, на день и ночь. В звуках он воспринимал окружающее, не протягивая к нему руки и оставаясь неподвижным. Звуки отличали добро от зла — и его нравственные представления сливались с музыкальными. И звуки же, их бесконечные по разнообразию сочетания, уравнивали его со всеми зрячими, чего не делала даже так называемая полная темнота.

В этой полной темноте на его стороне были все преимущества перед зрячими; ничего не видя, они делались беспомощными и беззащитными, тогда как для него ничто не менялось: он «видел», как видел всегда и везде, его движения были в привычной обстановке уверенны и свободны. Они лишались своего единственного преимущества он сохранял все свои способности человека, необыкновенно изощрившего слух и осязание. Они даже в собственной квартире натыкались на предметы и не могли найти выходной двери; он и в малознакомом доме чувствовал препятствие по особому упору воздуха при движении, иногда по едва уловимому, но все же отчетливому запаху лакированного дерева, бумаги, пыли. Но едва зажигался свет — роли менялись, и он становился, не всегда справедливо, существом низшим и достойным сожаления.

Иное было в мире звуков — его настоящем царстве. Здесь, равный зрячим, он безмерно возвышался над ними не на минуту и не случайно, а по нраву и почти недосягаемо. Они слушали музыку — он ее не только слышал, но и видел, как они видеть не могли. Ухом тончайшим и развитым он ловил им не слышное и облекал звуки в недосягаемые для них образы В аккорде он видел отдельно каждую ноту, и это не мешало ему также видеть их в гармонии. Каждый звук имел для него свои очертания и здесь он не дробил очертаний на куски, на признаки, на черточки лишь стенографической записи: он брал их в целости и позволял им сплетаться по воле, образуя причудливые рисунки. Один звук рождался круглым, как горошина, и катился по гладкой поверхности, другой имел форму монеты и падал плашмя, звеня и сразу замирая, третий хотел протянуться в бесконечность, но, остановленный пределами экрана, описывал дуги и окружности, пока не таял в самом центре, и еще иной выскакивал острой стрелкой и вонзался в мягкое, в нем исчезая. Были звуки, которые вырывались толпой и топтались в уголке экрана, а затем плыли, оставаясь приметными,— и тогда он плыл с ними до самого края, за которым их терял с болью и сожалением. Но ему ничего не стоило спутать их, ле-

гонько ударив пальцами по ручке кресла, в котором он сидел: на экране появлялись пятнышки, и вокруг них начинался хоровод испуганных звуков.

Он отлично знал, как звуки родятся в рояле; черточки теплой руки цеплялись за углы холодных пластинок чудодейственного свойства, которые внутри инструмента соединялись с тугими струнами резким ударом молоточка. Всю эту работу он отчетливо слышал и воспринимал. Особо дрожала каждая струна, особо гудел ящик рояля, от которого расходились волны, щекоча и возбуждая ухо; он слышал также и отражение звуков предметами, находившимися в комнате: жестким мячиком они отскакивали, от стен, раскалывались об угол стола, напрасно проваливались в мягкую обивку дивана. Он очень страдал, когда эти ненужные предметы портили мелодию,— другие ничего не замечали. Экран, на котором звуки отражались, делился на лучшие и худшие участки, как делит поля добрый сельский хозяин. На худших полях прорастал сор недостаточно настроенной струны, нечистого удара по клавишам, равнодушного оттенка или больной ноты, вызванной тем, что под ножку рояля попал конец ковра. Это было мучительно, и он старался не посещать заросших бурьяном музыкальных полей, обходить их стороной, забывать о них.

И было еще одно. В мире других восприятий он не знал ничего, не запечатленного его памятью, раньше не бывшего и незнакомого. Только в области звуков его мир слепорожденного мог наполняться неизвестным и неизведанным, совсем новыми сочетаниями и наполняться до краев, до сладкого и мучительного изобилия, иногда до болезненного чувства пресыщения. Перед ним, никогда не знавшим семи цветов радуги зрячих, вырастала могучая, тысячецветная радуга звуков, каскад неповторимых ощущений,— как неповторимы условия, в которых они сегодня рождались, а завтра в тех же родиться уже не могут.

Слушая музыку, простой напев или сложнейшую симфонию, он иногда, боясь пресыщения, медленно повертывал голову — и тогда вся не объяснимая словами картина так же медленно повертывалась в противоположную сторону: и вот он уже видел движение. Обеими ладонями он прикрывал уши, как это любят делать дети, и по своей воле приближал или отдалял звуки, стараясь понять, что такое перспектива, которой никто не мог ему объяснить. Затем он раздувал ноздри и нюхал, и порой ему казалось, что у каждого звука свой особый запах, тупой, пряный, домашний, летучий, как дым, или неотвязный, или неистребимый. В ином сочетании звуков он улавливал то же ощущение, какое испытывал, выйдя в сад в солнечный день; значит, это и есть «голубое небо», «зеленая трава» или «красное знамя». И еще иногда рождалась высота — то, до чего не дотянешься руками и что видят видящие; он теперь знал, что это — путь от простого осязания в бесконечность, от памяти в неведомое.

Когда музыка прекращалась, часто чьи-нибудь слова низвергали его с этих высот в обычный и внецветный мир силуэтов. Кто-нибудь говорил: «Прелестно», или: «Мне это меньше нравится»,— и он холодел при мысли, что можно пытаться выразить словами только что пережитое. Откуда взять слова? Какими их сочетаниями изобразить все, что накатило, пронеслось и отхлынуло? Он вставал, бледный, и, забыв дорогу, выставив вперед обе руки, искал выхода. И выйдя, ясно слышал, как там шепотом говорят. «Бедный, на него так сильно действует музыка!» Бедный? И это нищие говорят про миллиардера! Уйдя к себе, он рыдал, потрясенный неизмеримым величием и богатствами своих владений.

Количество баллов — 50.